

СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ

Моя ностальгия

СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ

*

МОЯ НОСТАЛЬГИЯ

...Ах, не по *доброму старому времени*, какое там; время моих начальных впечатлений - это время, когда мне, шестилетнему или вроде того, было веско сказано в ответ на мой лепет (содержание коего припомнить не могу) одним стариком из числа друзей семьи: "*Запомни: если ты будешь задавать такие вопросы чужим, твоих родителей не станет, а ты пойдешь в детдом*". Это время, когда я, выучась читать, вопрошающе глядел на лист газеты с признаниями подсудимых политического процесса, винившихся невесть в чем, а моя мама, почти не разжимая губ, едва слышно и без всякого выражения сказала мне только два односложных слова, которых было больше чем достаточно: "*Их бьют*". Это время, когда пустырь возле Бутиковского переулка, где потом устроили скверик, был до отказа завален теми обломками храма Христа Спасителя, которые не сумели приспособить к делу при строительстве метро. Это время, когда я, подросток, воспринимал дверь той единственной комнаты в многосемейной коммуналке, где со мной жили мои родители, как границу **моего** отечества, последний предел достойного, человеческого, обжитого и понятного мира, за которым - хаос, "тьма внешняя". О Господи, о чем говорить. Какая уж тут ностальгия....Ах, не по

Но ведь и с теми временами, которых я не видел, - что ни выбери, хоть *belle époque* накануне 1914 года, хоть прошлое столетие, хоть какую-нибудь вовсе уж "умопостигаемую" или уму непостижимую старину, - как не чувствовать, насколько любое *доброе старое время* было страшным и смутным, как много опасностей таилось в уюте, как много нечистоты - в благонравии, как много жестокости - в благообразии.

И все-таки - смотрю сам на себя с удивлением! - все-таки ностальгия. Ностальгия по тому состоянию человека как типа, когда все в человеческом мире что-то **значило** или, в худшем случае, хотя бы хотело, пыталось, должно было значить; когда возможно было "значительное". Даже ложная значительность, которой, конечно, всегда хватало - "*всякий человек есть ложь*", как сказал Псалмопевец (115: 2), - по-своему свидетельствовала об императиве значительности, о значительности как задании, без выполнения коего и жизнь - не в жизнь.

Не буду спорить, что бывали времена, когда этот императив доходил до неутешительных крайностей. В особенности европейская культура конца прошлого века и рубежа веков, то есть вагнеровско-ницшеовско-ибсеновской эпохи, страдала болезненной гипертрофией секуляризованного в своей мотивации и перенесенного в повседневную жизнь "образованного сословия" напряженного, натужного устремления быть **значительными**. Это было особенно характерно для *Bildungsbergertum* протестантских стран; недаром же Ницше был пасторским сыном. И как там сказано у Мандельштама про Ибсена? "*Аптекарью из Христиании удалось сманить грозу в профессорский курятник и поднять до высот трагедии злоеце-вежливые препирательства Гедды и Брака*". (А без Ибсена не понять всего этого времени; жаль, что наше поколение русской грамотной публики было, кажется, последним, рассматривавшим чтение его драм в отрочестве как непрременную обязанность.) Однако эпидемия ультрасерьезности захватывала и другие страны и социальные круги. Куда как серьезна была русская интеллигенция: чахотка не одного Надсона была для нее не медицинским казусом, а знаком того, что человек - "*сгорел*". А потом пришли символисты, и тут уж решительно все стало символом, и даже бытовая пошлость - "*таинственной*", как в стихах Блока. "О, сколько здесь таин!" - как поется в старых потешных стишках. Слов нет, нельзя изо дня в день жить посреди тешащих гордыню и мучащих нервы многозначительностей.

И уж вовсе на неправде основывалась устрашающая серьезность ежесекундно готовых убивать и умирать за новую жизнь и спасение человечества - ни больше ни меньше - большевиков, штурмовиков и прочая. И не от хорошей жизни являлась значительность геройского сопротивления тоталитаризму; никто из нас в здравом уме не пожелает ни себе, ни тем паче другому - положить голову на плаху, хотя жест этот, несомненно, бывал весьма значительным.

Притом значительность не имплицитует ни этического, ни тем паче интеллектуального качества. Возьмем хоть политику. Оставим Ганди, который хотя и действовал на политической арене, но, конечно, был уникален для любого времени. Перейдем к более обычному типу государственного человека. Я знать не знаю, был ли де Голль разумным политиком; но он был - не только силой "легенды" и пропаганды - "значителен", как "*великие мужи*" а la Плутарх. (А если бы и силой легенды - кто сложит такие легенды про нынешних?) На Черчилле - несмываемая вина за ненужные стратегически бомбежки немецких городов; но он тоже - *vir magnus* в старом плутарховском смысле, ничего не поделаешь, он что-то значил, что-то символизировал. От его потрясающей риторики самого первого периода войны, когда Франция рухнула на колени, а Британия стояла против Гитлера совсем одна, и сегодня перехватывает дыхание. По крайней мере у меня. К политике это не имеет отношения. Но к словесности, к эстетике тоже не сводится.

Впрочем, то же и с эстетикой. В первой половине века были "авангардисты", и нынче есть "авангардисты". Но разве вторые хоть отдаленно похожи на первых? Новшества тех имели значение патетического жеста, готового возвестить либо - "*incipit vita nova*", либо - конец всему, либо, может быть, - и то и другое сразу.

Эсхатологическая труба архангела. Вот Малевич пишет свой черный квадрат. Это серьезно, как движение бедного маленького Ганно Будденброка, подводящего черту под своим родословием: больше ничего не будет! Нынче-то жители западных городов проходят мимо абстрактных скульптур не оборачиваясь; а то было иначе - потрясенный мир узнавал о рождении беспредметного искусства как о **знамени, о предзнаменовании** наподобие тех *omina* (скажем, рождении тельца о двух головах), о которых так любил рассказывать в своей римской истории Тит Ливий. И Бердяев именно так писал свою статью о Пикассо.

Любопытно, что мыслители, вроде бы положившие начало кампании столь сугубо современной, как "сексуальная революция", хотя бы Василий Розанов и Дэвид Лоуренс, имели в предмете, что ни говори, нечто обратное тому, что на деле вышло, - а именно, предельную интенсификацию **значительности и значимости** плотского общения мужчины и женщины, его новое возведение в ранг языческой мистерии. Примеры можно умножать без конца. Даже движение хиппи, даже (во многом доселе определяющая западную университетскую жизнь) студенческая "революция" 1968 года, эта не слишком серьезная сатирическая драма, по правилам античной драматургии замкнувшая целый цикл трагедий, - и они жили трепетностью квазиэсхатологических чаяний и претензий на значение, превышающее их самих. В самых различных, самых разнокачественных и самых противоречивых своих аспектах культура (и отчасти жизнь) предшествовавшей эпохи стоит под знаком того, что мы назвали выше императивом значительности.

...Если бы, о, если бы все это нынче хотя бы осмеивалось, с пониманием пародировалось, принципиально, обдуманно отвергалось! (Тотальное и сознательное "нет" серьезности в духе "Степного волка" Гессе, "Номо ludens" Хейзинги или карнавалов Бахтина тоже ведь в своем роде серьезно, а если практикуется на обэриутский манер, так даже смертельно серьезно.) Можно бы понять чувство оскорбления после стольких идеологических обманов; известно, обжегшись на молоке, дуешь на воду. Но нет, сегодня дело обстоит совсем иначе. Значительность вообще, значительность как таковая просто улетучилась из жизни - и стала совершенно непонятной. Ее отсутствие вдруг принято всеми как сама собой разумеющаяся здоровая норма. Операция совершенно благополучно прошла под общим наркозом; а если теперь на пустом месте чуть-чуть ноет в дурную погоду, цивилизованный человек идет к психотерапевту (а в странах менее цивилизованных обходятся алкоголем или наркотиками). Разве что в малочитаемых книжках помянут "Sinnverlust", но опять-таки как проблему скорее психическую, нежели духовную или "экзистенциальную".

Вот, положим, в Вене поставили "Тристана и Изольду". Вроде бы и певцы, и оркестр знают свое дело - а слушать нет никаких сил. Согласен, напряженную значительность, которую Вагнер придает каждой музыкальной и словесной фразе и каждому жесту героев, можно находить непереносимой - тогда честнее не участвовать в исполнении его музыкальных драм. Либо уж позволить себе более или менее агрессивную пародию. Атмосферу значительности, значимости,

почти ритуальной, почти иероглифической знаковости, столь совершенно воссоздавшуюся в блаженные времена Фуртвенглера, Зутхауза и прочих, можно, на худой конец, уж если так хочется, - пародировать; чего нельзя, так это ухитриться ее не замечать. Это непозволительно делать просто потому, что означенная атмосфера входит как конструктивный фактор в художественное целое. Если, скажем, для Тристана не существует никакого серьезного выбора между его любовью и его "честью" ("*Tristans Ehre...*"), потому что и он и Изольда, по-видимому, получили сексуальное просвещение в новейшем духе и смотрят на вещи очевидным образом вполне спокойно, озабоченные только тем, чтобы вовремя спеть нужную ноту, - тогда и ноты и (сплошь "устаревшие") слова, ими артикулируемые, просто перестают быть системой значащих жестов, распадаются, разваливаются. Однако, заверяю вас, в упомянутом исполнении все шло именно так.

Конечно, это один из случайных примеров. Проблема, конечно, не в том, как ставить Вагнера. Проблема в том, как жить.

Взять хоть политику. Самое страшное и, во всяком случае, самое странное - даже не то, что льется кровь в результате локальных войн или индивидуальных террористических актов, а то, что кровопролитие ничего не "значит" и обходится, по сути дела, без значимой мотивации. Уличные бои - да это же был когда-то один из центральных символов Европы, вспоминай хоть стихи Барбье и вдохновенную ими "Свободу на баррикадах" Делакруа, хоть смерть тургеневского Рудина. Сегодня же на улицах Ганновера с полицейскими сражаются - панки. Они могут убить сколько-то полицейских, могут играть собственными жизнями - но это не отменит глубокой **фривольности** ситуации. Когда нынче слышишь о "неонацистах" или о русских "красно-коричневых", охватывает странное, неловкое чувство. Не мне же, в самом деле, обижаться за "настоящих" наци или "настоящих" большевиков! И все же, и все же - там было более опасное, но морально более понятное искушение: ложная, бесовски ложная, но абсолютно **всерьез** заявленная претензия на значительность, которой нынче нет как нет. В том-то и ужас, что сегодня люди могут сколько угодно убивать и умирать - и, сколько бы ни было жертв, это все равно ничего не будет значить. Объективно не будет.

Ну и напророчил Мандельштам еще когда - в 1922 году!

"Состояние зерна в хлебах соответствует состоянию личности в том совершенно новом и не механическом соединении, которое называется народом. И вот бывают такие эпохи, когда хлеб не выпекается, когда амбары полны зерна человеческой пшеницы, но помола нет, мельник одряхлел и устал и широкие лапчатые крылья мельниц беспомощно ждут работы".

И еще:

"Куда все это делось - вся масса литого золота исторических форм идей? - вернулась в состояние сплава, в жидкую золотую магму, не пропала, а то, что выдает себя за величие, - подмена, бутафория, папье-маше?"

Как странно, что никто даже толком не испугался, когда с таким запозданием сделалась доступна эта статья, озаглавленная "Пшеница человеческая"! Даже не разгневался на этого Мандельштама, черным по белому написавшего, что литое золото исторических форм идей - подменено, что предвидимые жертвы будут даже не во имя, скажем, национализма, хорош он или плох, этот национализм, а только во имя чьего-то **желани быть** националистом или **как бы** (файхингеровское *als ob*) националистом! Ах, наверное, распророчествовавшийся автор сам не до конца понимал, что написал. Но мы-то теперь - понимаем.

Еще недавно так много говорили об Endzeit, а если на хорошем русском - о **последних временах**, о конце. И пока жива была мысль о конце, сообщавшая значительность и новому искусству, и экзистенциалистскому философствованию, конца как раз не было, что-то не переставало, не прекращалось, длилось. Даже когда Томас Стернз Элиот сообщил, что мир кончится "*not with a bang but with a wimper*" - не грохотом, а всего-навсего всхлипом, - предполагалось, что и незначительность всхлипа как-то значительна, хотя бы от противного. Но вот формула сегодняшнего дня, за всех современников найденная Бродским:

Это хуже, чем грохот
и знаменитый всхлип.
Это хуже, чем детям
сделанное "бо-бо",
потому что за этим
не следует ничего.

"Не следует ничего". Порой кажется, будто все, кроме нескольких полоумных сектантов, перестали **ждать**. Очень характерно, что в языке постсоветской (и не только постсоветской) прессы существительное "апокалипсис" (со строчной буквы) употребляется исключительно в словосочетаниях типа "*ядерный апокалипсис*", то есть означает не **откровение** (каковой смысл имеет греческое слово "Апокалипсис"), но и не событие, которое, при всей катастрофичности, было бы эсхатологически содержательным (как предполагает настоящий Апокалипсис, то есть Откровение св. Иоанна Богослова), а просто несчастный случай, который может стать тотальным, может прикончить жизнь на земле, но от этого отнюдь не получает способности что-то значить. Впрочем, о всемирных несчастных случаях нынче в сравнении с недавним прошлым тоже почти что не думают, - должно быть, поработала психотерапия (в Вене, например, встречаешь объявления практикующих психиатров чуть не у каждого подъезда, а предложения поставить психотерапию на место религии - чуть не в каждой газете). И уж подавно не ждут Судного дня. Что же, мы в точности предупреждены, что Сын Человеческий придет в один из тех часов, когда Его меньше всего ожидают (ср. Лк. 12: 40)...

Ученикам Христа велено было бодрствовать. Конечно, бывает и другое, злое бодрствование - бодрствование врагов. И Анна, и Каиафа, и, разумеется, Иуда не спали в Гефсиманскую ночь (в отличие от Петра, Иакова и Иоанна). В предыдущую эпоху было очень много такого бодрствования - ни Ленину, ни Троцкому, ни Гитлеру, ни бесам

помельче не дремалось, какое там. Но все-таки было и бодрствование верных - хотя бы, как всякое добро в этом эоне, не совсем полное, не достигающее должной меры, но было. Сейчас мерещится, что все кругом погружены в сон. (Включая злодеев: по венскому ТВ показывают юношу, нанявшего киллера прикончить своих родителей, а уж заодно и собачку, имевшую несчастье пользоваться любовью этих родителей, получившего по младости небольшой срок, поступившего, чтобы не терять времени, на заочные курсы; и поразительнее всего абсолютная **невыразительность**, с которой он говорит, - впрочем, вполне словоохотливо и бойко, явно радуясь publicity, но **не просыпаясь** даже от этого удовольствия, - совершенно штампованные, готовые газетные фразы о своих психологических проблемах. Господи, я не говорю о раскаянии - но если бы в этом был хоть вызов, хоть самый дешевый "демонизм". Какое там. *Делов-то...*)

Читатель, не прими моих слов за повторение сказанного в свое время Константином Леонтьевым о *всеевропейском мещанине* или Мариной Цветаевой о гражданах города Гаммельна.

Во времена Леонтьева филистеру приходилось, например, сохранять хотя бы "лицемерную" респектабельность, что, во-первых, требовало порой почти стоических усилий, во-вторых, оставалось хот бы банализованным знаком чего-то "означаемого", а в-третьих, создавало по крайности возможность выбора между филистерской нормой и отклонениями от нее, - скажем, ампула денди, пробующего опиум, и прочими видами "интересного" бесчинства. О парижском декаденте над рюмкой абсента, о безумном левом радикале и террористе, наконец, даже о грубияне и босяке, игнорирующем нормы приличия, можно было сказать: *"Они хотя бы не филистеры"*. Еще хиппи надеялись быть чем угодно - *только не филистерами*. Уже в их время надежда была иллюзорной, но еще могла всерьез привлекать. Теперь ни один разумный человек ей не поддастся. В наше время все компоненты некогда антифилистерского набора - "сексуальная революция" + левая идеология + "феминизм" + литературно-журнальная агрессивность и т. д. и т. п. - до конца совпали с филистерством, стали с ним не то что совместимы, а просто ему тождественны. Советское общество, уже давно создавшее тип филистерства, основанного на революционной фразеологии, не совсем заблуждалось, когда полагало, что показывает путь остальному миру. Одно позднее стихотворение Вяч. Иванова очень точно рисует картину мира, в котором "мир плоско выравнен", до того плоско, что безразлична и стерта даже столь, казалось бы, практическая и прозаическая грань между нормой и бунтарством:

Теперь один запас понятий,
Один разменочный язык
Равняют всех в гражданстве братьий;
Обличья заменил ярлык.

Бьют тем же шаром те же кегли
Бунтарь, епископ и король...

Гаммельнцы Цветаевой - опять-таки филистеры невозвратимой старой формации, озабоченные осторожным соблюдением меры: *"Только не*

передать". Но в эпоху масс и mass-media шанс - именно у филистеров - имеют **только** преувеличения, **только** одномерные формулы без оговорок и оттенков. Современного человека трудно уговорить быть верующим, но легко уговорить быть фанатиком. Католический священник, не готовый заранее и с энтузиазмом одобрить все последствия "сексуальной революции", вызывает однозначную отлаженную негативную реакцию; но сектант, приглашающий добровольцев совершить вместе с ним массовое самоубийство, время от времени может рассчитывать на головокружительный успех. И вот беда, о которой не догадывалась патетическая создательница "Крысолова": любое преувеличение в этом новом Гаммельне тоже ничего, решительно ничего не значит, даже не притворяется, что значит, - хотя возможно, что в связи с ним прольется кровь.

И уж сколько именно крови - вопрос чисто количественный, вопрос исчисления, не вопрос **значения**.

Вена.

Июнь 1995 г.